
ИВАН
ТУРГЕНЕВ
Записки охотника
АЗБУКА-КЛАССИКА

Гамлет Щигровского уезда
Иван Сергеевич Тургенев

Аннотация
Иван Сергеевич Тургенев. ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА

Аннотация

«Редко соединялись в такой степени, в таком полном равновесии два трудно сочетаемых элемента: сочувствие к человечеству и артистическое чувство», — восхищался «Записками охотника» Ф.И. Тютчев. Цикл очерков «Записки охотника» в основном сложился за пять лет (1847—1852), но Тургенев продолжал работать над книгой. К двадцати двум ранним очеркам Тургенев в начале 1870-х годов добавил еще три. Еще около двух десятков сюжетов осталось в набросках, планах и свидетельствах современников.

Натуралистические описания жизни дореформенной России в «Записках охотника» перерастают в размышления о загадках русской души. Крестьянский мир прорастает в миф и размыкается в природу, которая оказывается необходимым фоном едва ли не каждого рассказа. Поэзия и проза, свет и тени переплетаются здесь в неповторимых, причудливых образах.

Иван Сергеевич Тургенев
ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА

На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника, Александра Михайлыча Г***. Его село находилось верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фрак, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайлычу. Обед был назначен к шести часам; я приехал в пять и застал уже великое множество дворян в мундирах, в партикулярных платьях и других, менее определительных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе несообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлыч никогда женатым не был и не любил женщин; общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлыч давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не добивался… Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это

остается покрыто мраком неизвестности, как говаривал один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали: берет ли он взятки с доброхотных дателей?

Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы; человек двадцать уже сидело за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было: два военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ, в тесных, высоких галстуках и с висячими, крашеными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных (эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на подходивших); пять или шесть уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно-неподвижными ножками (эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбались на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкий, весьма учтивый и приличный скрып). Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к дверям

и подле окон; один, уже немолодой, но женоподобный по наружности помещик стоял в уголку, вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания; иные господа, в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечного цехового мастера иностранца Фирса Клюхина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человек лет двадцати, подслеповатый и белокурый, с ног до головы одетый в черную одежду, видимо робел, но язвительно улыбался…

Однако я начинал несколько скучать, как вдруг ко мне присоседился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживавший в доме Александра Михайлыча в качестве… мудрено сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его знавал еще в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене «играли столбняка», то есть не отвечали ни слова на вопросы профессора. Этих господ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дела давно минувших дней, как изволите видеть.) Вот как это делалось: вызывали, например, Вой-

ницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами, — вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. «Извольте взять билет», — с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетов. «Да не извольте выбирать», — замечал дребезжащим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок, профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал нумер и шел садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз с билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил; говорят ему: «Хорошо, ступайте», или даже: «Хорошо-с, очень хорошо-с», смотря по его способностям. Вот вызывают Войницына; Войницын встает и твердым шагом приближается к столу. «Прочтите билет», — говорят ему. Вой-

ницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать», — лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дергать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженый его затылок круто и неподвижно торчит навстречу любопытным взорам всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить: он окончательно ненавидит Войницына. «Однако ж это странно, — замечает другой экзаменатор, — что же вы, как немой, стоите? ну, не знаете, что ли? Так так и скажите». — «Позвольте другой билет взять», — глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте», — махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете: теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так! Он возвращается на свое место, так же неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя

восклицает: «Ну баня! экая задача!» И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история.

Вот этот-то Войницын присоседился ко мне. Мы с ним говорили о Москве, об охоте.

— Не хотите ли, — шепнул он мне вдруг, — я познакомлю вас с первым здешним остряком?

— Сделайте одолжение.

Войницын подвел меня к человеку маленького роста, с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пестром галстуке. Его желчные, подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая, едкая улыбка беспрестанно кривила его губы; черные, прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий, сладкий — настоящий Сахар-Медович — и кривой. Он заранее смеялся остротам маленького человека и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакомились, обменялись первыми приветствиями.

— А позвольте представить вам моего лучшего приятеля, — заговорил вдруг Лупихин резким го-

лосом, схватив сладкого помещика за руку. — Да не упирайтесь же, Кирила Селифаныч, — прибавил он, — вас не укусят. Вот-с, — продолжал он, между тем, как смущенный Кирила Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот, — вот-с, рекомендую-с, превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до пятидесятилетнего возраста, да вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таковым же успехом… Ну, а они, разумеется, с таковою же преданностию…

— Ведь этакой, — пробормотал Кирила Селифаныч и засмеялся.

— Договаривайте, друг мой, эх, договаривайте, — подхватил Лупихин. — Ведь вас, чего доброго, в судьи могут избрать, и изберут, посмотрите. Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим; да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Неравно заедет губернатор — спросит: отчего судья заикается? Ну, положим, скажут: паралич приключился; так бросьте, ему, скажет, кровь. А оно в вашем положении, согласитесь сами, неприлично.

Сладкий помещик так и покатился.

— Ведь вишь смеется, — продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилы Селифаныча. — И отчего ему не смеяться? — прибавил он, обращаясь ко мне, — сыт, здоров, детей нет, мужики не заложены — он же их лечит, — жена с придурью. (Кирила Селифаныч немножко отвернулся в сторону, будто не расслыхал, и все продолжал хохотать.) Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала. (Он оскалился.) А вы этого не Знали? Как же! Так-таки взяла да и убежала и письмо мне оставила: любезный, дескать, Петр Петрович, извини; увлеченная страстью, удаляюсь с другом моего сердца… А землемер только тем и взял, что не стриг ногтей да пантолоны носил в обтяжку. Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный человек… И, боже мой! наш брат-степняк так правду-матку и режет. Однако отойдемте-ка в сторону… Что нам подле будущего судьи стоять-то…

Он взял меня под руку, и мы отошли к окну.

— Я слыву здесь за остряка, — сказал он мне в течение разговора, — вы этому не верьте. Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух: оттого я так и развязен. И зачем мне церемониться, в самом деле? Я ничье мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь; я зол — что ж такое? Злому

человеку, по крайней мере, ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите… Ну вот, например, ну вот посмотрите на нашего хозяина! Ну из чего он бегает, помилуйте, то и дело на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит? Эка невидаль — сановное лицо! Вот, вот, опять побежал — заковылял даже, посмотрите.

И Лупихин визгливо засмеялся.

— Одна беда, барынь нету, — продолжал он с глубоким вздохом, — холостой обед, — а то вот где нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите, — воскликнул он вдруг, — идет князь Козельский — вон этот высокий мужчина с бородой, в желтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал… И всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам, один, как пара купеческих лошадей, а изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволит улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек!.. И сам иногда острит, даром что проездом здесь живет; зато как и острит! Ни дать ни взять тупым ножом бечевку пилит. Он меня терпеть не может… Пойду поклонюсь ему. И Лупихин побежал навстречу князю.

— А вот мой личный враг идет, — промолвил

он, вдруг вернувшись ко мне, — видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове, — вон, что шапку сгреб в руку да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк? Я ему продал за четыреста рублей лошадь, которая стоила тысячу, и это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня; а между тем сам до того лишен способности соображенья, особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он отвечает: чего-с? А вот генерал идет, — продолжал Лупихин, — штатский генерал в отставке, разоренный генерал. У него дочь из свекловичного сахару и завод в золотухе… Виноват, не так сказал… ну, да вы понимаете. А! и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает, — чудеса!.. А впрочем, на что ему и знать свое дело-то; лишь бы взятки брал да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян!

Лупихин опять захохотал… Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько приверженных домочадцев и усердных гостей… Шумный разговор превратился в мягкий, прият-

ный говор, подобный весеннему жужжанью пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса — Лупихин и великолепный трутень — Козельский не понизили голоса… И вот вошла наконец матка — вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись; даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше: покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою а, произнесенною протяжно и в нос, — с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, все общество отправилось в столовую, тузами вперед.

Нужно ли рассказывать читателю, как посадили сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком с свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахма-

ленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком, — как хозяин хлопотал, бегал, суетился, потчевал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу, как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины, — как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту, — как слуги, в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому дворянину то с малагой, то с дрей-мадерой и как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой, — как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться заздравные тосты: все это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчанья. Кто-то, кажется, разоренный генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, упомянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да, да, — подхватил сановник, — это правда; но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». (Детски веселая улыбка промчалась по лицам всех гостей; у одного помещика даже

благодарность заиграла во взоре.) «Ибо молодые люди глупы». (Сановник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов.) «Вот хоть бы у меня, сын Иван, — продолжал он, — двадцатый год всего дураку пошел, а он вдруг мне и говорит: „Позвольте, батюшка, жениться“. Я ему говорю: „Дурак, послужи сперва…“ Ну, отчаянье, слезы… но у меня… того… (Слово „того“ сановник произнес более животом, чем губами; помолчал и величаво взглянул на своего соседа, генерала, причем гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько набок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращенным к сановнику.) „И что ж, — заговорил сановник опять, — теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил… Так вот как надобно поступать“. Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления… После обеда все общество поднялось и двинулось в гостиную с большим, но все же приличным и словно на этот случай разрешенным шумом… Сели за карты.

Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в

пять часов утра, отправился на покой. Но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком.

Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой, зеленоватой и сыроватой комнате, куда привел меня дворецкий Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошел к другой кровати (их всего было две в комнате), разделся и лег в сырые простыни. Мой сосед заворочался на своей постели… Я пожелал ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Несмотря на все мои старания, я никак не мог заснуть: бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.

— А вы, кажется, не спите? — проговорил мой сосед.

— Как видите, — отвечал я. — Да и вам не спится?

— Мне никогда не спится.

— Как же так?

— Да так. Я засыпаю сам и не знаю отчего; лежу, лежу, да и засну.

— Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется?

— А что ж прикажете делать?

Я не отвечал на вопрос моего соседа.

— Удивляюсь я, — продолжал он после небольшого молчания, — отчего здесь блох нету. Кажется, где бы им и быть?

— Вы словно о них сожалеете, — заметил я.

— Нет, не сожалею; но я во всем люблю последовательность.

«Вот как, — подумал я, — какие слова употребляет».

Сосед опять помолчал.

— Хотите со мной об заклад побиться? — заговорил он вдруг довольно громко.

— О чем?

Меня мой сосед начинал забавлять.

— Гм… о чем? А вот о чем: я уверен, что вы меня принимаете за дурака.

— Помилуйте, — пробормотал я с изумлением.

— За степняка, за невежу… Сознайтесь…

— Я вас не имею удовольствия знать, — возразил я. — Почему вы могли заключить…

— Почему! Да по одному звуку вашего голоса: вы так небрежно мне отвечаете… А я совсем не то, что вы думаете…

— Позвольте…

— Нет, вы позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше; во-вторых, я три года провел за границей: в одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь, знаю Гете наизусть; сверх того, я долго был влюблен в дочь германского профессора и женился дома на чахоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода; я не степняк, как вы полагаете… Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего.

Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты.

— Вот вы теперь смотрите на меня, — продолжал он, поправив свой колпак, — и, вероятно, самих себя спрашиваете: как же это я не заметил его сегодня? Я вам скажу, отчего вы меня не заметили, — оттого, что я не возвышаю голоса; оттого, что я прячусь за других, стою за дверьми, ни с кем не разговариваю; оттого, что дворецкий с подно-

сом, проходя мимо меня, заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди… А отчего все это происходит? От двух причин: во-первых, я беден, а во-вторых, я смирился… Скажите правду, ведь вы меня не заметили?

— Я действительно не имел удовольствия…

— Ну да, ну да, — перебил он меня, — я это знал.

Он приподнялся и скрестил руки; длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок.

— А признайтесь-ка, — прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку, — я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом, или, может быть, пожалуй, еще чем-нибудь похуже: может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком?

— Я вам опять-таки должен говорить, что я вас не знаю…

Он на мгновение потупился.

— Почему я с вами, вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился — господь, господь один ведает! (Он вздохнул.) Не вследствие же родства наших душ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты: ни вам до меня, ни мне до вас нет ни малейшего дела; не так ли? Но нам обоим не спится… Отчего ж не поболтать? Я же

в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, ни определить, ни предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь; например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой, — я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется?

— Напротив, — поспешно возразил я, — мне очень приятно с вами разговаривать.

— То есть я вас потешаю, хотите вы сказать… Тем лучше… Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык. «Моей судьбою очень никто не озабочен». Они думают уязвить меня… О боже мой! если б они знали… да я именно и гибну оттого, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходок, как, например, мой теперешний разговор с вами; но ведь эти выходки гроша медного не стоят. Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности.

Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками.

— Милостивый государь! — воскликнул он. — Я того мнения, что вообще одним оригиналам житье на земле; они одни имеют право жить. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre[1], сказал кто-то. Видите ли, — прибавил он вполголоса, — как я чисто выговариваю французский язык. Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна и что понимаешь ты все, много знаешь, за веком следишь, — да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! Одним складочным местом общих мест на свете больше, — да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему! Запах свой имей, свой собственный запах, вот что! И не думайте, чтобы требования мои насчет этого запаха были велики… Сохрани бог! Таких оригиналов пропасть: куда ни погляди — оригинал; всякий живой человек оригинал, да я-то в их число не попал!

— А между тем, — продолжал он после небольшого молчания, — в молодости моей какие возбуждал я ожидания! Какое высокое мнение я

---

[1] notes: 1
Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана *(франц.)*

сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и в первое время после возвращения! Ну, за границей я держал ухо востро, все особнячком пробирался, как оно и следует нашему брату, который все смекает себе, смекает, а под конец, смотришь, — ни аза не смекнул!

— Оригинал, оригинал! — подхватил он, с укоризной качая головой… — Зовут меня оригиналом… А на деле-то оказывается, что нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга. Я, должно быть, и родился-то в подражание другому… Ей-богу! Живу я тоже словно в подражание разным мною изученным сочинителям, в поте лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок, — кто его разберет!

Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель.

— Хотите, я вам расскажу жизнь мою, — спросил он меня отрывистым голосом, — или, лучше, несколько черт из моей жизни?

— Сделайте одолжение.

— Или нет, расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женитьба дело важное, пробный камень всего человека; в ней, как в зеркале, от-

ражается… Да это сравнение слишком избито… Позвольте, я понюхаю табачку.

Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл ее и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, милостивый государь, войдите в мое положение… Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию… скажу более — науку?

Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:

— А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел… Да помилуйте, — продолжал он, опять переменив голос, словно оправдываясь и робея, — где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то, — да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать,

так; а мне это не под силу: мне вы подайте вывод, заключенье мне представьте… Заключенье? — Вот тебе, говорят, и заключенье: послушай-ка наших московских — не соловьи, что ли? — Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят… Вот я подумал, подумал — ведь наука-то, кажись, везде одна, и истина одна, — взял да и пустился, с богом, в чужую сторону, к нехристям… Что прикажете! — молодость, гордость обуяла. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром, хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру!

— Однако, — прибавил он, подумав немного, — я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же. Во-первых, доложу вам, что жены моей уже более на свете не имеется, во-вторых… а во-вторых, я вижу, что мне придется рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймете… Ведь вам не хочется спать?

— Нет, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка… вот в соседней комнате господин Кантагрюхин храпит как неблагородно! Родился я от небогатых родителей — говорю родителей, потому что, по преданью, кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню;

сказывают, недалекий был человек, с большим носом и веснушками, рыжий и в одну ноздрю табак нюхал; в спальне у матушки висел его портрет, в красном мундире с черным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сечь водили, и матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая: он бы еще тебя не так. Можете себе представить, как это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то есть, по правде сказать, был какой-то братишка завалящий, с английской болезнью на затылке, да что-то скоро больно умер… И зачем, кажись, английской болезни забраться Курской губернии в Щигровский уезд? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка со всем стремительным рвением степной помещицы: занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло шестнадцать лет… Вы следите за ходом моего рассказа?

— Как же, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вот, как стукнуло мне шестнадцать лет, матушка моя, нимало не медля, взяла да прогнала моего французского гувернера, немца Филиповича из нежинских греков; свезла меня в Москву, записала в университет, да и отда-

ла всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчему Колтуну-Бабуре, птице, не одному Щигровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий Колтун-Бабура, ограбил меня, как водится, дочиста… Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я — должно отдать справедливость моей родительнице — довольно хорошо подготовленный; но недостаток оригинальности уже и тогда во мне замечался. Детство мое нисколько не отличалось от детства других юношей: я так же глупо и вяло рос, словно под периной, так же рано начал твердить стихи наизусть и киснуть, под предлогом мечтательной наклонности… к чему бишь? — да, к прекрасному… и прочая. В университете я не пошел другой дорогой: я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие… Но вы, может быть, не знаете, что такое кружок? Помнится, Шиллер сказал где-то:

Gefahrlich ist's den Leu zu wecken,
Und schreklich ist des Tigers Lahn,
Doch das schrecklichste der Schrecken —

Das ist der Mensch in seinnem Wahn![2]

Он, уверяю вас, он не то хотел сказать; он хотел сказать: Das ist ein «кружок»... in der Stadt Moskau!

— Да что ж вы находите ужасного в кружке? — спросил я.

Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос.

— Что я нахожу ужасного? — вскрикнул он. — А вот что: кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни; кружок... о, да постойте; я вам скажу, что такое кружок! Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства

---

[2] notes: 2

Опасно будить льва,
И страшен зуб тигра,
Но самое ужасное из всех ужасов —
Это человек в его безумии! (нем.)

и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой, — да и о чем говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников… О кружок! ты не кружок; ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!

— Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить, — прервал я его.

Мой сосед молча посмотрел на меня.

— Может быть, господь меня знает, может быть. Да ведь нашему брату только одно удовольствие и осталось — преувеличивать. Вот-с таким-то образом прожил я четыре года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь,

как скоро, как страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно с горы на салазках покатишься… Смотришь, уж и примчался к концу; вот уж и вечер; вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук — оденешься и поплетешься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах. Но и тут встречал я оригинальных, самобытных людей: иной, как себя ни ломал, как ни гнул себя в дугу, а все природа брала свое; один я, несчастный, лепил самого себя, словно мягкий воск, и жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления! Между тем мне стукнуло двадцать один год. Я вступил во владение своим наследством, или, правильнее, тою частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить, дал доверенность на управление всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василью Куряшеву и уехал за границу, в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, три года. И что ж? И там, и за границей, я остался тем же неоригинальным существом, Во-первых, нечего и говорить, что

собственно Европы, европейского быта я не узнал ни на волос; я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги на самом месте рождения их… вот в чем состояла вся разница. Жизнь вел я уединенную, словно монах какой; снюхивался с отставными поручиками, удрученными, подобно мне, жаждой знанья, весьма, впрочем, тугими на понимание и не одаренными даром слова; якшался с тупоумными семействами из Пензы и других хлебородных губерний; таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало, разговаривал с ними как-то напряженно и никого из них у себя не видал, исключая двух или трех навязчивых молодчиков еврейского происхождения, которые то и дело забегали ко мне да занимали у меня деньги, — благо der Russe верит, Странная игра случая занесла меня наконец в дом одного из моих профессоров; а именно вот как: я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми да и пригласи меня к себе на вечер. У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие — бог с ними — носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. На-

добно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен: с кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки все на лбу держал; притом ученейший был человек… И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен, — да целых шесть месяцев этак все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало, — больше так на нее смотрел; но читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не то просто вверх. Притом она так отлично варила кофе!.. Кажется, чего бы еще? Одно меня смущало: в самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то все под ложечкой сосало и тоскливая, холодная дрожь пробегала по желудку. Я наконец не выдержал такого счастья и убежал. Целых два года я провел еще после того за границей: был в Италии, постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял; внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила; по вечерам пописывал стишки, начинал дневник; словом, и тут вел себя, как все. А между тем, посмотрите, как легко быть оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живописи и ваянии… Сказать бы мне это про-

сто вслух… нет, как можно! Бери чичерона, беги смотреть фрески…

Он опять потупился и опять скинул колпак.

— Вот вернулся я наконец на родину, — продолжал он усталым голосом, — приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе бог ведает что. Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением; дамы с участием выслушивали мои разглагольствования; но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счет сплетня (кто ее произвел на свет божий, не знаю: должно быть, какая-нибудь старая дева мужеского пола, — таких старых дев в Москве пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчивые нити, — не тут-то было… Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком; мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот как выжидают конца крапивной лихорадки, и те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия, те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи… Да вот в чем беда: не оригиналь-

ный человек. Добросовестность вдруг, изволите видеть, во мне проснулась: мне что-то стыдно стало болтать, болтать без умолку, болтать — вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевом-Вражке, и все о том же… Да коли этого требуют? Посмотрите-ка на настоящих ратоборцев на этом поприще: им это нипочем; напротив, только этого им и нужно; иной двадцатый год работает языком, и все в одном направлении… Что значит уверенность в самом себе и самолюбие! И у меня оно было, самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось… Да тем-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось; притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихе с молодым, но уже дряблым телом, вроде желе, я жениться не хотел, — и удалился к себе в деревню. Кажется, — прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку, — я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее…

— Можете, можете, — возразил я.

— Тем более, — продолжал рассказчик, — что это все вздор, по крайней мере что до меня касается. Я в деревне скучал, как щенок взаперти, хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания. Но эти смутные ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются, а напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе не ожидаешь, как-то: падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не большим, грабителем да сверх того отравлявшего мое существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей, велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным: шесть месяцев спустя женился я на второй дочери полковницы!..

Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу.

— И между тем, — продолжал он с жаром, —

я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы, хотя я должен, между нами, сознаться, что, если бы я не имел несчастия ее лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами, ибо еще до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься!

— Иным грушам, — начал он опять после небольшого молчания, — нужно некоторое время полежать под землей в подвале, для того чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус; моя покойница, видно, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведенных мною с ней до свадьбы, не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слез. Люди они были небогатые; дом их, весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе, между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба,

покрытая розами; на каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную; а в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя: по углам изразцовые печи, кисленькое фортепьяно направо, заваленное рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени, на стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закатившимися глазами, на столе ваза с свежими розами… Видите, как я подробно описываю. В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была скверная баба, с постоянной хрипотой злобы в горле, притеснительное и сварливое существо; из дочерей одна — Вера, ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень, другая — Софья, — я в Софью влюбился. У обеих сестер была еще другая комнатка, общая

их спальня, с двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо (между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и еще более энергическою подписью, в юности своей возбудивший несоразмерные ожидания, а кончивший, как все мы — ничем), с бюстами Гете и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память. Но в эту комнату я ходил редко и неохотно: мне там отчего-то дыхание сдавливало. Притом — странное дело! Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером, на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще резко отдалявшиеся от розового неба; в гостиной, за фортепьянами, сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу из Бетховена; злая старуха мирно похрапывала, сидя на диване; в столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем; самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался; с веселым треском ло-

мались крендельки, ложечки звонко стучали по чашкам; канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихла и только изредка чирикала, как будто о чем-то спрашивала; из прозрачного, легкого облачка мимоходом падали редкие капли… А я сидел, сидел, слушал, слушал, глядел, сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот, под влиянием такого-то вечера я однажды спросил у старухи руку ее дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я ее любил… Да и теперь — пора бы знать, а я, ей-богу, и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с теплым сердцем; но, бог знает отчего, от долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин, у ней на дне души (если только есть дно у души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем невозможно было излечить, да и назвать ее ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался только после брака. Уж я ли не бился над ней — ничто не помогало! У меня в детстве был чиж, которого кошка раз подержала в лапах; его спасли, вылечили, но не исправился мой бедный чиж; дулся, чах, перестал петь… Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забралась

к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он наконец решился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою в своих лапах, только и она так же дулась и чахла, как мой несчастный чиж. Иногда ей самой, видимо, хотелось встрепенуться, взыграть на свежем воздухе, на солнце да на воле; попробует — и свернется в клубочек. И ведь она меня любила: сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остается желать, — тьфу, черт возьми! — а у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем? Собрал справки: ничего не оказалось. Ну вот, теперь посудите сами: оригинальный человек пожал бы плечом, может быть, вздохнул бы раза два да и принялся бы жить по-своему; а я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того въелись все привычки старой девицы — Бетховен, ночные прогулки, резеда, переписка с друзьями, альбомы и прочее, — что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла; а между тем смешно же замужней женщине томиться безыменной тоской и петь по вечерам: «Не буди ты ее на заре».

Вот-с, таким-то образом-с мы блаженствовали три года; на четвертый Софья умерла от первых

родов, и — странное дело — мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, землю — новым обитателем. Помню я, как ее хоронили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит; на каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине, пред царскими дверями, одели полинялым покровом, поставили кругом три подсвечника. Служба началась. Дряхлый дьячок, с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым кушаком, печально шамшил перед налоем; священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берез; со двора несло травяным запахом; красное пламя восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня; воробьи так и чирикали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетевшей ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немногочисленных мужиков, усердно молившихся за покойницу;

тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я глядел на мертвое лицо моей жены… Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны: то же болезненное, робкое, немое выражение, — ей словно и в гробу неловко… Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сделала, что умерла!

У рассказчика раскраснелись щеки и потускнели глаза.

— Отделавшись наконец, — заговорил он опять, — от тяжелого унынья, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе; но в больших комнатах казенного заведения у меня голова разбаливалась, глаза тоже плохо действовали; другие кстати подошли причины… я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву, да, во-первых, денег недостало, а во-вторых… я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг и не вдруг. Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастья… С другой стороны, я уже давно

замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостию, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже «слово-ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение первого года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть; но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать, но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того, дошло до моего сведения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора как о человеке выдохшемся и пустом. Но мое полудобровольное ослепление все еще продолжалось: не хотелось, знаете, самого себя «заушить»; наконец в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. Ко мне заехал исправник с намерением обратить мое внимание на провалившийся мост в моих владениях, который мне

решительно не на что было починить. Заедая рюмку водки куском балыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность, впрочем, вошел в мое положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу, закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почетного звания губернского предводителя в то время добивался некто Орбассанов, пустой крикун да еще и взяточник впридачу. Притом же он не отличался ни богатством, ни знатностью. Я высказал свое мнение на его счет, и довольно даже небрежно; я, признаюсь, глядел на г. Орбассанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать, — где нам?.. Знай сверчок свой шесток». — «Да помилуйте, — возразил я с досадой, — какая же разница между мною и г. Орбассановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза — и так и прыснул. «Ну, потешник, — проговорил он наконец сквозь слезы, — ведь экую штуку выкинул… а! каков?» — и до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка поталкивая меня локтем под бок и говоря мне уже «ты». Он уехал наконец. Этой

капли только недоставало; чаша перелилась. Я прошелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго, долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих: я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, никтожный и ненужный, неоригинальный человек!

Рассказчик помолчал.

— В одной трагедии Вольтера, — уныло продолжал он, — какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения, — я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к ненавистной мне деревне; ни хозяйство, ни служба, ни литература — ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался, книги мне опротивели; для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «жызнь», — я не представлял ничего за-

нимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог… Я стал, что вы думаете? я стал таскаться по соседям. Словно опьяненный презрением к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе; мне не давали даже вмешиваться в общий разговор, и я сам, бывало, нарочно поддакивал из угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время оно, в Москве, с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели… Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии… Помилуйте, что за ирония в одиночку! Вот-с как я поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор…

— Однако это ни на что не похоже, — проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина, — какой там дурак вздумал ночью разговаривать?

Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем.

— Тс… тс… — прошептал он — и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил: — Слушаю-с,

слушаю-с, извините-с… Ему позволительно спать, ему следует спать, — продолжал он снова шепотом, — ему должно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам все сказал, что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи.

Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушки.

— Позвольте, по крайней мере, узнать, — спросил я, — с кем я имел удовольствие…

Он проворно поднял голову.

— Нет, ради бога, — прервал он меня, — не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени… А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите… назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались… Засим прощайте.

Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было

в комнате. Он уехал до зари.